



В. В. РОЗАНОВ

Возврат к Пушкину (К 75-летию дня его кончины)

27 января 1837 — 27 января 1912 года

Его ещё нет, но его так хочется, этого возвращения. Правда, прошёл уже

...суд глупца и смех толпы холодной, —

который надвигался на Пушкина при жизни и торжествовал свои триумфы в «разливанном море» 60-х — 70-х годов. Пушкин поставлен на своё место, — и место это, первого русского поэта, утверждено за ним. Но это всероссийское признание, торжественное и национальное, почти государственное, — наконец, признание литературное и учёное, — не то, о чём мечтается и что нужно; нужно не ему, а нам. Хочется, чтобы он вошёл *другом в каждую русскую семью*, стал дядькою-сказочником для русских детей, благородным другом-джентльменом молодых матерей, собеседником старцев. Всё это возможно. Для *каждого возраста* Пушкин имеет у себя нечто соответствующее, и мысль о разделении Пушкина и *раздельных его изданиях* «для детей», для «юношества» и для «зрелого возраста» — приходит на ум! Но это уже техника, и мы её оставляем в стороне. Вот этого «*под кровом домов*» — ужасно мало. «*Под кровом домов*» скорее живут Лермонтов и Гоголь, всякая мельчайшая вещица которых бывает прочитана русским даровитым мальчиком и русскою даровитою девочкою уже к 12 и, самое позднее, к 15 годам. Между тем как пушкинские «Летопись села Горохина»¹ или «Сцены из рыцарских времён» неизвестны или «оставлены в пренебрежении» и многими из взрослых. Дивные вещицы из его лирики, как мы неоднократно убеждались из расспросов, из разговоров, — остаются неизвестными или тускло помнятся, с трудом припоминаются, даже иногда корифеями литературы, не говоря о «людях общества». Пушкин скорее пошёл в детальное изучение библио-

филов. Вот они спорят и препираются о каждой его строчке. Но эти великие «корректоры текста» скорее мешают введению его под кровы домов. Нет *удобных* изданий Пушкина... Чтоб «взять Пушкина с полки», Нужно иметь хороший рост, да и здоровенные руки: академические томы изломают руки, изломают институтке, гимназистке, мальчику. Студент ни за что их не возьмёт в руки по «превосходительной учёности»; «Петя 11 лет» ни за что не отыщет в десяти толстых томах, с грудями примечаний и вообще учёной работы, «своей дорогой сказочки» о царе Салтане или о работнике Балде. *Ходких изданий* совершенно нет; никакой «Посредник» над ними не трудился. Нет «Пушкина», которого можно было бы «сунуть под подушку», «забыть на ночном столике», «потерять — не жаль», потерять «с милым на прогулке», — сунуть в корзину или в карман, идя в лес по грибы или ягоды. Наконец, нет изданий той чарующей внешности, которые покупаются за обложку. Наши виртуозы обложки, как молодой художник Лансере, которые «возвели обложку к роскоши Шекспира», к «свободе и прелести Гёте и Шиллера», — ни разу не коснулись волшебным пером своим «обложки к Пушкину». По-видимому, повинуюсь господину всего, заказу, — они украшают обложки совершенно мертвенных и лишь претенциозных поэтов и прозаиков наших дней. Академии и большим издателям следовало бы давно утилизировать талант рисовальщиков в пользу Пушкина и других классиков.

Если бы Пушкин не только изучался учёными, а вот вошёл другом в наши дома, — любовно прочитывался бы, нет, — *трепетно переживался бы каждым русским от 15 до 23 лет*, — он предупредил бы и сделал невозможным разлив пошлости в литературе, печати, в журнале и газете, который продолжается вот лет десять уже. Ум Пушкина предохраняет от всего глупого, его благородство предохраняет от всего пошлого, разносторонность его души и занимавших его интересов предохраняет от того, что можно было бы назвать «раннею специализациею души»: так, марксизм, которому лет восемь назад отданы были души всего учащегося юношества, совершенно немислим в юношестве, знакомом с Пушкиным. А это было именно время, когда шли «академические издания» Пушкина в редакции ученого Леонида Майкова, когда Лернер собирал свои «Дни и труды Пушкина» и шёл спор о подлинности его «Русалки». Вина этому — и семья наша, где Пушкин решительно не «привился», но отчасти — и солид-

ное Министерство народного просвещения. Оно решительно ещё не дозрело до Пушкина, находясь на уровне «Былин, собранных Рыбниковым» и од Державина. Держась метода «всезнайства», оно пичкает учеников всех разрядов своими «образцами из всего понемножку», образцами из «Домостроя», образцами из Карамзина, «да не забыть бы хоть двух басен И. И. Дмитриева, как предшественника Крылова»; и когда ученики дотаскиваются до Пушкина, то они до того бывают истомлены «предшествующим курсом», а вместе получили такое основательное отвращение к «попам Сильвестрам и Юрию Крижаничу» (всё область *науки*, а не педагогики), что, присоединив мысленно Пушкина «тоже к Крижаничу», ограничиваются и из него «требуемыми образцами», переходя в восьмом классе гимназии и на первом курсе университета прямо к Леониду Андрееву, как «сути» всего, как сочетавшему в себе «Манфреда», Шекспира и решительно всех. *Гимназия* — далека от задач учёности и научного отношения к вещам, в том числе — к литературе. Отроческий возраст и возраст первой юности — время эстетики, годы увлечений, а не «ума холодных наблюдений», которыми его *преждевременно и по-старчески* пичкает чиновное Министерство. Вот если бы этим годам увлечения, да нашего русского увлечения, самозабвенного, даны были «в снесь» всего *три писателя*, только три — Пушкин, Лермонтов и кн. Одоевский, — причём они в семь лет могли бы быть разучены со всем энтузиазмом Белинского, прилежанием Лернера и любовью к минувшим дням Анненкова, — то и дома русские, и общество русское, и несчастная наша журналистика были бы предохранены от тысячи не только ложных шагов, но и шагов грязных, марающих. Но нашему Министерству просвещения «хоть кол на голове теши» — оно ничего не понимает. Ну, Бог с ним. Надежда — просто на отцов семьи, на матерей семьи. Пусть они воспользуются принципом педагогики: «не — многое, а — много». Пусть они предостерегают отрочество и юношество от *литературной рассеянности*: один Пушкин — *на много лет*, вот лозунг, вот дверь и путь.

Пушкин — это покой, ясность и уравновешенность. Пушкин — это какая-то *странная вечность*. В то время как романы Гёте уже невозможно читать сейчас или читаются они с невыносимым утомлением и скукою, «Пиковую даму» и «Дубровского» мы читаем с такой живостью и интересом, как бы они *теперь были написаны*. *Ничего не устарело в языке, в течении речи,*

в *душевном отношении* автора к людям, вещам, общественным отношениям. Это — чудо. Пушкин нисколько не состарился; и когда и Достоевский и Толстой уже несколько устарели, устарели по самой нервозности своей, по идеям, по взглядам некоторым, — Пушкин ни в чём не устарел. И поглядите: лет через двадцать он будет *моложе и современнее* и Толстого и Достоевского! Как он имеет в себе нечто для всякого возраста, так (мы предчувствуем) в нём сохранится нечто и для всякого века и поколения. «Просто — поэт», как он и определял себя («Эхо»), — на всё благородное давший благородный отзвук. Скажите: когда этому перестанет время, когда это станет «не нужно»? Так же это невозможно, как и то, чтобы «утратили прелесть и необходимость» берёзовая роща и бегущие весной ручьи. Пушкин был в высшей степени не специален ни в чём и отсюда-то — его вечность и *обще*воспитательность. Всё «уклоняющееся» и «нарочное» он как-то инстинктивно обходил; прошёл лёгкою иронией «нарочное» даже в «Фаусте» и в «Аде» Данте (его пародии), в столь мировых вещах. «Ну, к чему столько», например, мрака и ужасов — у флорентийского поэта? К чему эта задумчивость до чахотки у туманного немца:

...ты думаешь тогда,
когда не думает никто².

Пушкин всегда с *природою* и уклоняется от человека везде, где он уклоняется от природы. В *самом человеке* он взял только природно-человеческое, — то, что присуще мудрейшему из зверей, полубогу и полуживотному: вот — старость, вот — детство, вот — потехи юности и грёзы девушек, вот — труды замужних и отцов, вот — наши бабушки. *Все возрасты* взяты Пушкиным; и каждому возрасту он сказал на ухо скрытые думки его и слово нежного участия, утешения, поддержки. И всё — немногословно. О, как всё коротко и многодумно! Пушкина нужно «знать от доски до доски», и слова его

Над вымыслом слезами обольюсь³ —

есть завещание и вместе упрёк нам — его благородный, не язвительный упрёк. Заметьте ещё: ничего *язвительного* на протяжении всех его томов! Это — прямо чудо... А как он негодовал! Но ядом не облил ни одну свою страницу. Вот почему он так воспитателен и здоров для души. Во всех его томах *ни одной*

страницы презрения к человеку. Если мы будем считать, что у него отсутствует, то получится почти такое же богатство, как если мы будем пересчитывать, *что́ у него есть*, Мусора, сора, зависти, — никаких «смертных грехов»... Какая-то удивительно *чистая кровь* — почти суть Пушкина. И он не входит в «Курс русской словесности», а он есть *вся русская словесность*, но не в начальном осуществлении, где было столько «ложных шагов», а в благородной первоначальной задаче. Мы должны любить его, как люди «потерянного рая» любят и воображают о «возвращённом рае»... Но «хоть кол теши»... Оставим. Купите-ка, господа, сегодня своим детишкам «удобного Пушкина» и отберите у них разные «новейшие произведения»... Уберите и крепко запирайте в шкаф, а ещё лучше — ключ потеряйте. «Новейшие произведения» тем отмечаются, что польза от них происходит только тогда, когда их теряешь, забываешь у приятеля, когда их «зачитывают» или, наконец, когда какая-нибудь несгорающая «Анафема» (Леонида Андреева) наконец сгорает, хоть при пожаре квартиры.

Ну, довольно. Все это мысли тоже «потерянного рая». К Пушкину, господа! — к Пушкину снова!.. Ондохнул бы на нашу желчь, — и желчь превратилась бы в улыбки. Никто бы не гневался «на теперешних», но никто бы и не читал их...

1912

